

Он. Записи 1920 года. Франц Кафка

Ни для чего он не бывает достаточно подготовлен, но не может даже упрекать себя в этом, ибо где взять в этой жизни, так мучительно требующей каждую минуту готовности, время, чтоб подготовиться, и даже найдись время, можно ли подготовиться, прежде чем узнаешь задачу, то есть можно ли вообще выполнить естественную, а не лишь искусственно поставленную задачу? Потому-то он давно уже под колесами; странным, но и утешительным образом, к этому он был подготовлен меньше всего.

Все, что он делает, кажется ему, правда, необычайно новым, но и, соответственно этой немислимой новизне, чем-то необычайно дилетантским, едва даже выносимым, неспособным войти в историю, порвав цепь поколений, впервые оборвав напрочь ту музыку, о которой до сих пор можно было по крайней мере догадываться. Иногда он в своем высокомерии испытывает больше страха за мир, чем за себя.

Со своей тюрьмой он смирился. Кончить узником – это могло бы составить цель жизни. Но у клетки была решетка. Равнодушно, властно, как у себя дома, через решетку вливался и выливался шум мира, узник был, по сути, свободен, он мог во всем принимать участие, снаружи ничего не ускользало от него, он мог бы даже покинуть клетку, ведь прутья решетки отстояли друг от друга на метр, он даже узником не был.

У него такое чувство, что он заграждает себе путь тем, что он жив, а это препятствие служит ему опять-таки доказательством, что он жив.

Его собственная лобная кость преграждает ему путь, он в кровь расшибает себе лоб о собственный лоб.

Он чувствует себя на этой земле узником, ему тесно, у него появляются печаль, слабость, болезни, бредовые мысли узников, никакое утешение не может утешить его, потому что это именно лишь утешение, хрупкое, вызывающее головную боль утешение перед лицом грубого факта пребывания в узилище. Но если спросить его, чего он, собственно, хочет, он не сможет ответить, ибо у него – это одно из его сильнейших доказательств – нет представления о свободе.

Иные опровергают беду ссылкой на солнце, он опровергает солнце ссылкой на беду.

Самобичующее, тяжеловесное, часто надолго прерывающееся, но, по сути, непрестанное волновое движение всякой жизни, чужой и собственной, мучит его, потому что приносит с собой непрестанную необходимость мышления. Услышав, что у его друга должен родиться ребенок, он сознает, что он уже пострадал за это, обо всем подумав заранее.

Он видит двояко. Первое – это спокойное, наполненное жизнью, невозможное без известного удовольствия созерцание, рассуждение, исследование, излияние. Численность и возможность всего этого бесконечна, даже мокрице нужна относительно большая трещина, чтобы укрыться, а для этих работ вообще не остается места: даже там, где нет ни трещинки, они могут жить тысячами и тысячами, проникая друг в друга. Это – первое. А второе – это момент, когда ты, вызванный, чтобы дать отчет, не выдавливаешь из себя ни звука, бросаешься назад в рассуждения и т. д., но теперь, видя полную безнадежность, уже никак не можешь купаться во всем этом, тяжелеешь и с проклятьем тонеешь.

Речь идет вот о чем. Однажды, много лет назад, я сидел, конечно, довольно грустный, на скате Лаврентьевой горы. Я проверял, чего желаю от жизни. Самым важным или самым привлекательным оказалось желание найти такой взгляд на жизнь (и – это, разумеется, было неразрывно связано – письменно убедить в нем других), при котором жизнь хоть и сохраняет свои естественные тяжелые падения и подъемы, но в то же время, с не меньшей ясностью, предстает пустотой, сном, неопределенностью. Желание, может быть, и прекрасное, если бы пожелал я по-настоящему. Примерно как пожелал бы сработать стол по всем правилам ремесла и в то же время ничего не делать, причем не так, чтобы можно было сказать: «Для него сработать стол – пустяк», а так, чтобы сказали: «Для него сработать стол – настоящая работа и в то же время пустяк», отчего работа стала бы еще смелее, еще решительнее, еще подлиннее и, если хочешь, еще безумнее.

Но он совершенно не мог так пожелать, ибо его желание не было желанием, оно было лишь оправданием, узакониванием пустоты, оттенком веселости, который он хотел придать пустоте, куда он, правда, сделал тогда лишь несколько первых шагов, но уже чувствовал, что это – его стихия. Это было тогда своего рода прощание с видениями молодости, которая, впрочем, никогда не обманывала его непосредственно, а только через речи всяких авторитетов вокруг. Так возникла необходимость «желания».

Он доказывает только себя самого, его единственное доказательство – он сам, все противники побеждают его сразу же, но не тем, что опровергают его (он непроверяем), а тем, что доказывают себя.

Человеческие союзы основаны на том, что кто-то своим сильным бытием как бы опроверг отдельно другие, сами по себе непроверяемые жизни. Им-то это приятно и утешительно, но это лишено правды, а потому всегда недолговечно.

Это была прежде часть монументальной группы. Вокруг какого-то возвышения посредине стояли в продуманном порядке символы солдатского сословия, искусств, наук, ремесел. Одним из этих многих был он. Сейчас эта группа давно распалась, или по крайней мере он покинул ее и влачит свое существование один. Даже прежней профессии у него больше нет, он и забыл даже, что изображал тогда. Наверно, именно из-за этого забвенья возникает какая-то печаль, неуверенность, беспокойность, какая-то омрачающая настоящее тоска по прошлому. И все же эта тоска есть важный элемент жизненной силы, а может быть, и она сама.

Он живет не ради своей личной жизни, он мыслит не ради своего личного мышления. У него такое чувство, что он живет и мыслит по принуждению некоей семьи, для которой, хоть она и сама куда как богата силой жизни и мысли, он по какому-то неведомому ему закону представляет собой некую формальную необходимость. Из-за этой неведомой семьи и из-за этого неведомого закона его нельзя отпустить.

Первородный грех, древняя несправедливость, совершенная человеком, состоит в упреке, который делает и от которого не отступается

человек, в упреке, что с ним поступили несправедливо, что по отношению к нему был совершен первородный грех.

Перед витриной Казинелли вертелись двое детей, мальчик лет шести и семилетняя девочка, богато одетые, говорили о Боге и о грехах. Я остановился позади них. Девочка, вероятно, католичка, считала только обман Бога настоящим грехом. Мальчик, вероятно, протестант, с детским упорством спрашивал, а что же такое обман человека или кража. «Тоже очень большой грех, – сказала девочка, – но не самый большой, только грехи перед Богом самые большие, для грехов перед людьми у нас есть исповедь. Когда я исповедуюсь, за мной опять стоит ангел, а когда совершаю грех, за моей спиной появляется черт, только его не видно». И устав от полусерьезности, она для забавы повернулась на каблуках и сказала: «Видишь, никого за мной нет». Мальчик повернулся таким же образом и увидел меня. «Видишь, – сказал он, не считаясь с тем, что я услышу его, или вовсе не думая об этом, – за мной стоит черт» – «Этого я тоже вижу, – сказала девочка, – но я его не имею в виду».

Он не хочет утешения, но не потому, что не хочет его, – кто его не хочет? – а потому, что искать утешения значит: посвятить этой задаче свою жизнь, жить всегда на периферии собственной личности, чуть ли не вне ее, едва ли уже зная, для кого ищешь утешения, и поэтому не быть даже в состоянии найти действенное утешение, действенное, не истинное, ибо такового не существует.

Он сопротивляется пристальному взгляду ближнего. Человек, даже будь он непогрешим, видит в другом только ту часть, на которую хватает его силы зрения и способа смотреть. Как всякий, но крайне преувеличенно, он норовит ограничить себя так, как в силах увидеть его взгляд ближнего. Если бы Робинзон, для утешения ли, от покорности ли, от страха, незнания или тоски так и не покидал самой высокой или, вернее, самой зримой точки острова, он бы вскоре погиб; но поскольку он, не рассчитывая на корабли и на их слабые подзорные трубы, начал исследовать весь свой остров и находить в нем радость, он сохранил жизнь и был, хоть и в необходимой для разума последовательности, но все-таки в конце концов найден.

– Ты делаешь из своей нужды добродетель.

– Во-первых, это делает всякий, а во-вторых, именно я этого не делаю. Я оставляю свою нужду нуждой, я не осушаю болот, а живу в их миазмах.

– Из этого ты и делаешь добродетель.

– Как всякий, я же сказал. Кстати, я делаю это только ради тебя. Чтобы ты оставался расположен ко мне, я терплю ущерб, наносимый моей душе.

Все ему позволено, только не терять самообладание, отчего опять-таки запрещено все, кроме одного, необходимого для всей совокупности сию минуту.

Узость сознания есть социальное требование.

Все добродетели индивидуальны, все пороки социальны. То, что считается социальной добродетелью, например, любовь, бескорыстие, справедливость, самоотверженность, – это всё лишь «паразитально» ослабленные социальные пороки.

Разница между теми «да» и «нет», которые он говорит своим современникам, и теми, которые, собственно, следовало бы сказать, соответствует, наверно, разнице между жизнью и смертью, да и постижима ведь только так же – догадкой.

Причина того, что мнение потомков о ком-то вернее, чем мнение современников, заключена в умершем. Раскрываешься во всем своем своеобразии лишь после смерти, лишь когда ты в одиночестве. Смерть для каждого – как субботний вечер для трубочиста, они смывают с тела сажу. Становится видно, кто кому повредил больше – современники ему или он современникам, в последнем случае он был великим человеком.

Сила для отрицания, для этого естественнейшего проявления непрестанно меняющегося, обновляющегося, отмирающего, оживающего в борьбе человеческого организма, есть у нас всегда, но нет мужества, а ведь жить – это отрицать, и значит, отрицание – это утверждение.

Со своими отмирающими мыслями он не умирает. Отмирание есть лишь явление внутри, внутреннего мира (который сохраняется, даже составляя только одну мысль), такое же явление природы, как любое другое, ни веселое, ни печальное.

Течение, против которого он плывет, такое стремительное, что в какой-то рассеянности иногда приходишь в отчаяние от однообразного спокойствия, среди которого плещешься, так бесконечно далеко отнесло тебя назад в мгновение, когда ты сплхнул.

Он хочет пить и отделен от источника только кустами. Но он разделен надвое, одна часть охватывает взглядом все, видит, что он стоит здесь и что источник рядом, а вторая часть ничего не замечает, разве лишь догадывается, что первая всё видит. Но поскольку он ничего не замечает, пить он не может.

Он не смел и не легкомыслен. Но и не боязлив. Свободная жизнь не испугала бы его. Такая жизнь у него не сложилась, но и это не заботит его, как вообще не заботит его он сам. Но есть кто-то совершенно ему неведомый, кого он – только он – непрестанно заботит. Эти заботы неведомого существа о нем, особенно непрестанность этих забот, вызывают у него порой в тихие часы мучительную головную боль.

Подняться мешает ему какая-то тяжесть, чувство застрахованности на всякий случай, ощущение ложа, которое ему приготовлено и принадлежит только ему; а лежать неподвижно мешает ему беспокойство, которое гонит его с ложа, мешает совесть, бесконечно стучащее сердце, страх перед смертью и желание опровергнуть ее, все это не дает ему лежать, и он поднимается снова. Эти подъемы и опускания и некоторые случайные, несущественные наблюдения, сделанные на этих путях, суть его жизнь.

У него два противника. Первый теснит его сзади изначально. Второй преграждает ему путь вперед. Он борется с обоими. Первый, собственно, поддерживает его в борьбе со вторым, ибо хочет протолкнуть его вперед, и так же поддерживает его второй в борьбе с первым, ибо отталкивает его назад. Но это только в теории. Ведь есть не только эти два противника, но есть еще и он сам, а кто, собственно, знает его намерения? Во всяком случае он мечтает о том, что когда-нибудь, украдкой – для этого, конечно, нужна такая темная ночь, какой еще не было, – он сойдет с линии боя и благодаря своему боевому опыту будет поставлен судьей над своими борющимися друг с другом противниками.